# ВАСЬКА

## 1

Первое, что услышал Васька, просыпаясь, был шелест дождя по крыше избушки. «Значит, за глухарями не поедем», – подумал он, чувствуя, как отпадает всякая охота подыматься. Было поздно. Николай, давно вставший и попивший чаю, сидел на нарах, сопя и куря папиросу, и прикручивал цепочки к капканам.

– Сорок пять... Ну и как спали, Василий Матвеевич? – проговорил он, швырнув в кучу последний капкан.

«Мог бы разбудить, если так недоволен», – подумал Васька и, кивнув на покрытое каплями окно, спросил неизвестно зачем:

– Давно сыпет?

– Ешь, давай, – ответил Николай. – Да поедем сеть смотреть.

Снег, так радовавший Ваську, наполовину стаял и оставался только в складках мха. У безжизненного кострища мокро блестела банка. Вода стояла в собачьем тазу, висела мелкими шариками в кедровых иголках. На открывшуюся дверь вяло шевельнулся серый хвост под навесом. Чуть забелело в низких тучах, от ожившего ветра полилось с деревьев крупными каплями, закричала с ёлки кедровка. Но когда Николай с Васькой спускались к Бахте по скользким чугунным камням, снова потемнело, и засипел по воде, было, притихший дождик. Николай отвязал от кустов верёвку, и лодка, грохоча, сползла в воду, оставив на камнях белые блёстки.

– Заводи иди, – поёживаясь, буркнул Николай; чувствовалось, что ему неохота ни шевелиться, ни к чему-либо прикасаться. В сеть попали три большие щуки и таймень. Николай застрелил его из тозовки. Когда ехали назад, дождь усилился, и Ваську, сидевшего за мотором, больно било по глазам.

Обсушившись, Васька решил пройтись по дороге, которую ему отвёл Николай в этом месте. Но едва он поднялся в хребет, пробрёл по редкому кедрачу с пяток капканов и вышел, шурша снегом, к болотцу с красным мхом, всыпал такой дождь, что ему ничего не оставалось, как вернуться обратно.

– Ну и охота мокнуть было? – усмехнулся Николай, все вопросы начинавший с «ну и». Васька поел жареного тайменя с картошкой, попил чаю и, смастерив на чурке станочек из толстой проволоки, принялся вертеть цепочки для капканов. Николай, всегда делавший то же самое плоскогубцами, посмеивался: мол, давай-давай, мастер, посмотрим, что из твоего мастерства через месяц выйдет.

Быстро стемнело. Николай заправил лампы, долго протирал стёкла газетой, подрезал ржавыми ножницами фитили. Разгорелось пламя, и сразу сжалось, почернев, синее окно. Николай прикурил от лампы, улёгся и, не глядя, достал с полки журнал.

Васька в калошах на босу ногу вышел на улицу, помешал остывающий на лабазке собачий корм, вернулся, лёг на нары – и затосковал. Дождь убил в нём всю прежнюю бодрость – бодрость от новых забот, от лёгкого морозца, стоявшего целую неделю, пока они развозили продукты по избушкам. Он чувствовал себя совершенно размокшим и бессильным. Всё его удручало. От шуточек Николая становилось неловко, он не знал, как на них отвечать: обижаться не хотелось, а остроумно огрызаться он не решался, да и не умел. Всё меньше нравился и сам Николай, который, казалось, без конца напоминал, что он здесь хозяин и что у него со всем вокруг, начиная от ведра в избушке и кончая порогами Бахты, свои старые отношения. Ваське казалось, что даже вещи напарника смотрят на него с превосходством, особенно полка, туго и аккуратно набитая пачками пулек, махорки, папирос. Казалось, что если Николай сажает его за свой мотор, то непременно для того, чтобы Васька видел, как хорошо тот у него работает. Казалось, что Николай всё время ищет повода придраться, что если нарезать хлеб толсто, он скажет: «Оковалков напахал», а тонко – «Ково настриг – окошко видать», и поэтому старался резать как бы средне и вообще избегал что-либо делать первым.

Васька уже не мог остановиться. Раздражало лицо Николая, сухое, с русой бородкой, с выпуклыми желтоватыми глазами, которые, когда тот жевал, прикрывались крупными веками в веснушках, и одно из них двигалось вверх-вниз в такт челюстям. Всё больше не нравились его избушки, маленькие и низкие. Васька пощупал шишку на лбу, поглядел на балку и представил, что сказал бы отец по этому поводу: наверное, что-нибудь вроде: «Лесу пожалел, а головы нет».

Не нравилось Ваське и их устройство: везде одинаково – стол у окна и по бокам нары. Особенно раздражала Ваську эта избушка, срубленная почему-то на крутом склоне и покосившаяся сразу в двух направлениях, так, что когда входишь, сначала получаешь дверью по спине, а потом танцуешь на кривом полу, чтобы не завалиться на печку.

Закрыв глаза, Васька стал представлять себе Бахту, по которой они подымались с грузом несколько дней. Она казалась широкой и неприветливой, с бесконечными камнями, косами, скалами в косой кирпичик и сеткой облетелых лиственниц по берегам. Васька содрогнулся, вспомнив неуместное веселье беляков в пороге, стук мотора о камни и тугое стекло слива, сквозь которое просвечивает зелёное ребро каменной плиты. Потом он стал думать о названиях, которые уже совсем никуда не годились: Бедная речка, Холодный ручей или ещё того лучше: Хигами, Гикке и Ядокта, которую Николай, надо отдать ему должное, удачно переименовал в Ягодку. То ли дело Верхняя речка, Андроновский лужок, Алёшкин ручей! И Васька с невозможной тоской вспомнил деревню, Енисей, озёра на левой стороне, где они весновали с отцом; вспомнил майское солнце, земляные берега Сарчихи, из которой по виске можно попасть в длинное озеро, вспомнил большую избушку в остроконечном чернолесье и горьковатый запах тальников, дрожащих под напором течения и прозрачно-слоистых, оттого что каждый уровень воды оставляет на них свою полоску ила.

Раз поймали они в сеть огромного карася, поразившего Ваську своей сказочностью: тёмно-золотой, с копейку чешуей и человечье-самодовольным выражением выпученных глаз и приоткрытого рта. А раз Васька, пробираясь ранним утром на ветке, долблёной лодке, по затопленному ельнику, услыхал совсем рядом, впереди, нежный, колокольно-звонкий клик. Он выехал из чащи и увидел на абсолютно зеркальном озере двух лебедей, которые, когда он подплыл ближе, завертели жёлтоклювыми головками и поднялись, медленно отделившись от своих отражений и оставив на воде две рассыпающиеся дорожки. Сделав круг на фоне ельника, они набрали высоту и, перекликаясь, пролетели над Васькой, деревянно и тоже как-то сказочно двигая выгнутыми крыльями.

Однажды отец уехал в деревню сдавать рыбу и задержался на сутки. Васька, прождав ночь, отправился смотреть сети и так увлекся, что опомнился только вечером в отяжелевшей от рыбы ветке, когда, еле ворочая веслом, въезжал по виске в озеро – прямо в серебряное небо, где над перевёрнутым облаком висела в воздухе обоюдоострая стена пихтача с еле заметной линией берега посередине, с двумя половинками лодки и двумя изогнутыми струями синего дыма. У костра на тропинке, уходящей в воду, сидел отец и мешал в большой чашке сметану с мелко нарезанной черемшой.

Ту ночь, светлую и короткую, Васька запомнил на всю жизнь. Отец полулежал на боку, глядя сквозь остывающий костёр на дрожащую воду, одной рукой подперев голову, а другой обняв привалившегося к нему Ваську. Никогда он не видел отца таким задумчивым, никогда рука его не лежала на Васькином плече так хорошо, и никогда он не испытывал такого счастья. И такой усталости, которая продолжала укачивать его, как ветка, и он, уже закрыв глаза, всё выпутывал из бесконечной сети серебристых, пахнущих огурцом сигов. Отец отнёс Ваську в избушку, сходил на берег прибрать хлеб и, когда сам укладывался, заметил, прикручивая фитиль, как дёрнулась рука спящего Васьки с распухшими красными пальцами.

Летом отец утонул. Как это произошло, никто не узнал, нашли только прибившуюся к острову и полную песку лодку. Васька остался вдвоём с бабушкой: мать умерла, когда он был ещё совсем маленьким.

## 2

Прошло три месяца с того самого дождя. Ясным морозным днём Васька подходил по белому полотну Нимы к дальней избушке, стоящей на устье незамерзающего ручья в светлом и просторном лиственничнике. Утро было очень холодным. Пар выходил изо рта плотной струей и с шелестом рассеивался.

Низко над рекой пролетел, скрипя крыльями и косясь на избушку, ворон. Были видны заиндевелые ворсинки у его ноздрей. На ворона некстати взлаял кобель-первоосенок и тут же замолк, пряча глаза. Ваську всё это очень позабавило, одарив на весь день хорошим настроением.

Мороз не давал мешкать, и он часов за пять управился с дорогой. Попало три соболя. Искрился снег, густо синели тени, тянулся за лыжами сахарный ступенчатый след.

До избушки не хватало нескольких капканов, и Васька, скатываясь по звонким кустам на реку, с удовольствием подумал: «Всё хорошо будет – в следующем году доставлю».

В одном месте на припорошенный лёд вылилась вода и застыла кристаллами. Слетелись толстые красные клесты и грызли эти зелёные звёзды своими похожими на испорченные ножницы клювами. Они старательно наклоняли головы, прижимали их ко льду, и была в их движениях какая-то смешная ухватистость.

Серебрились на ещё светлом небе тонкие, изогнутые, как рога, ветви лиственниц. Полоска пара висела над промоиной. За мысом открывался длинный плёс и над ним – сопка с припудренной вершиной.

Бочка у избушки, чурка с воткнутым две недели назад топором – всё было засыпано пухлым голубым снегом. Васька не спеша освободил ноги из юкс, снял тозовку, привадник, понягу, согнувшись, вошёл в ледяной сумрак и, прежде чем затопить печку, стукнул по трубе поленом.

В ответ с шорохом проехал кусок снега. Потом он, не расслабляясь, надел лыжи и притащил из поленницы несколько лиственных чурок, которые кололись на рыжие волокнистые поленья, казалось, ещё до того, как их коснётся топор. Потом спустился с ведром к промоине у ручья. Края затягивались ледком, сквозь тёмную парящую воду виднелось дно в камнях. Шурша, развернулась отколотая льдинка, и Ваську ещё раз умилила эта зимняя живучесть речек и ручьёв, в любой мороз продолжающих таинственно побулькивать. Подымаясь обратно к избушке, Васька с одобрением уставшего человека прислушивался к гулким щелчкам, к нарастающему рёву в высокой трубе, из которой вслед за густым дымом начинал вырываться прозрачный расплавленный воздух, иссечённый искрами.

Смеркалось, уходило в открытое небо последнее тепло. С резким, каким-то особо отчётливым морозным шелестом шумел по камням ручей. Избушка нагрелась, светилась печка рубиновой краснотой, плавилась в кастрюле льдышка глухариного супа. Васька развесил соболей, снял азям, заиндевевший изнутри по швам, растянул его на гвоздях за печкой, потом, несмотря на почти невыносимую пустоту в животе, ещё некоторое время терпеливо разувался и принялся за еду, только когда аккуратно висели на своих местах бродни, перехваченные бабушкиными цветными вязочками, пакульки и портянки. После чая он поставил

на печку собачий корм и, откинувшись на нары, замер, переживая блаженство этого долгожданного мига.

Ровно горела лампа. Чуть покачивалась под чисто вытертой луковкой стекла золотая корона пламени. Всегда есть в подобном свете что-то старинное, торжественное и очень отвечающее атмосфере той непередаваемой праведности, которая сопровождает одинокую жизнь охотника.

В эти минуты Ваську охватывала такая волна любви ко всему окружающему, что по сравнению с ней долгие часы усталости, холода и неудач не значили ничего. Он смотрел на смуглые стены избушки и восхищался, как ладно срублен угол, как плотно заходит одно бревно за другое, как просто и красиво висят портянки на затёртой до блеска перекладине под потолком. И росла в нём безотчётная гордость за свою жизнь, за это нескончаемое чередование тяжкого и чудного, за ощущение правоты, которое даётся лишь тем, кто погружён в самую сердцевину бытия.

## 3

С Николаем они встречались редко, раз или два в месяц, чаще всего в главной избушке, заранее рассчитывая время, чтобы прийти в один день. Когда этот день наступал, Васька, волнуясь ещё с вечера, вставал намного раньше обычного и, подходя краем Бахты к знакомой ложбине, издали высматривал полоску лыжни на снегу или столб дыма среди пёстрого от кухты леса. Но обычно он приходил первым и, таская на нарточках дрова для бани, то и дело прислушивался и выбегал на высокий угор в надежде увидеть вдали у мыса три шевелящиеся точки. Потом возвращался в избушку и, томясь ожиданием, пил чай, крутил приёмник и вдруг вскакивал от громкого лая, без шапки выныривал на улицу и, отбиваясь от собачьих приветствий, слышал далёкое и мерное шуршанье лыж.

Вскоре появлялся Николай, весь белый, с белой бородой, с берёзовой лопаткой под мышкой и кровавой белкой у пояса, с сосульками на усах и улыбкой, еле раздвигающей застывшие губы.

Иногда они менялись ролями, и как было приятно, до темноты провозившись с соболем, застрявшим после выстрела в толстой и лохматой кедре, подходить по свежей лыжне к светящемуся окну и видеть, как бьётся во тьме рыжий хвост пламени над трубой. Валит пар из приоткрытой двери, рябчики скворчат на сковородке, а из рации, к большому удовольствию сытого и разомлевшего Николая, доносится пискляво-игрушечный разговор какого-нибудь «Тринадцатого» с «Перевальной», обсуждающих способы ремонта «дыроватого» ведра.

Раз на другой день после такой встречи, возвращаясь с дороги, Васька увидел напарника на крыше, скидывающего лопатой скрипучие кубы снега. Он, было, кинулся помогать, но Николай раздражённо осадил его: мол, мог бы и сам давно догадаться, что крыши здесь никто перекрывать за него не будет. У Васьки одеревенели губы от обиды, и он ушёл в избушку пить чай, сразу показавшийся безвкусным, хоть он и мечтал о нём весь день. Впредь он стал ещё более внимательным. Заметив, что Николай всегда, уходя, оставляет с избытком мелко наколотых дров, он стал оставлять ещё больше и ещё мельче наколотых, и между ними даже завязалось что-то вроде игры с возрастающими ставками, из которой Васька вышел победителем. Николай, видя Васькину покладистость и отдавая должное его упорству в охоте, раз от раза становился доброжелательней и словоохотливей. На Новый год они просидели до пяти утра.

Николай, первым вспомнив случай со снегом на крышах, признался, что «после сам переживал» и что, «наверно, язык не отсох бы всё добром объяснить, а не реветь попусту». Он усидел почти бутылку спирта, и Васька потом долго вспоминал истории про непутевых напарников, которых у Николая была целая коллекция и которые, хоть и стоили друг друга, но изводили его по-разному.

Был один, Борька, всё приговаривавший во время сборов: «Тайга –это тебе не водку трескать». Залетали они в тот год на вертолёте. Николай разделил груз на две части: с одной высадил на главной избушке Борьку, а с другой полетел на Ягодку, откуда тот должен был забрать его на лодке. Но шло время, а Борька всё не появлялся. Николай забеспокоился, пошёл к напарнику сам, шёл два дня, промок до нитки, перебираясь через Хигами, и обнаружил в тёплой избушке невредимого Борьку, храпящего среди пустых бутылок. «Хоть бы глоток, подлец, оставил», – подумал Николай, а кончилось всё просто: на другой день он помог Борьке стащить на воду старую деревянную лодку, и тот послушно отбыл на ней в деревню.

Однажды Николай чуть не погиб от аппендицита. Рация, как обычно, была на Холодном, а прихватило его совсем в другой стороне. Он ковылял оттуда

несколько дней, пришёл ночью и чудом застал на связи охотника из соседнего посёлка.

Вылетел вертолёт, Николай пошёл его встречать на Бахту, и его нашли в снегу без сознания с тускло горящим фонариком в руке.

В каждой избушке у Николая висело по школьной тетрадке. В такой тетрадке красивым почерком было записано, что такого-то числа охотник Шляхов пришёл с Холодного (не видал ни следушка), а такого-то ушёл на Ягодку, мороз столько-то градусов. Но особо запомнил Васька другую запись. Она кончалась словами: «…пишу, стоя на коленях, жалко, мало пожил».

Постепенно Васька начал понимать, что за желчностью Николая стоит вовсе не какая-то вредность характера, а обычное недоверие битого жизнью человека. Он с облегчением чувствовал, что этого недоверия остаётся между ними всё меньше и меньше. Особенно потеплело на душе у Васьки, когда в одной из избушек появилась сделанная руками Николая крутилка для цепочек.

В отношениях с людьми Ваську всё больше удивляла обманчивость внешнего впечатления. Он всегда с интересом слушал разговоры по радиостанции и даже придумал игру: представлять себе по голосам разных охотников, а потом сверяться у Николая. Часто всё выходило совсем не так, как он думал, и придурковатый заикающийся «Еловый» оказывался лучшим охотником района, а бойко и грамотно басящий «Захребетный» – последним болтуном, лентяем и посмешищем целого посёлка. Был ещё некто

«Пятнадцатый». Говорил он резким недовольным голосом с причавкиванием, и казалось, что его вечно отрывают от пожирания чего-то вкусного. Ваське не нравился его авторитетный тон и привычка делать всем замечания. У «Пятнадцатого» была большая семья, и он без конца с нею беседовал, то и дело прерываясь и требуя, чтобы ему не мешали и не «забивали» эфир пустяковыми разговорами. Охотился он с сыном. Сын, как и Васька, был на охоте первый раз. У сына этого был такой же голос, как и у отца, звали его тоже Геной, и Васька поначалу их даже путал, потому что Гена-сын тоже причавкивал и хорохорился не хуже отца, как бы давая этим понять, что он хоть и молодой, но тоже «Пятнадцатый».

Однажды Васька пришёл настолько голодным, что первым делом, не дожидаясь, пока оттает ужин, сжевал брикет сухого киселя со снегом. После этого он подкрепился двумя чашками борща, а перед сном умял сковородку риса с глухарятиной. Под утро он проснулся от нестерпимой рези в животе и весь день провалялся на нарах. Оказалось, что младший Гена тоже заболел и, пользуясь

затишьем, до обеда проговорил с молодой женой, причём сначала по привычке продолжал изображать «Пятнадцатого», а потом неожиданно пролепетал, что «соскучился ужасно», и Васька, которого и так не покидало ощущение, что он подслушивает, совсем смутился и выключил рацию.

## 4

Бабушка жила в Васькиных мыслях постоянно. Маленькая, лёгкая, как совёнок, мягкая от надетых на неё платков и фуфаек, пахнущая прелым тряпьём, рыбьим жиром и картошкой, она и на расстоянии преследовала его своей заботой. Теперь, после долгой разлуки, Васька принимал эту заботу без раздражения и всякий раз улыбался, вспоминая, как навязчиво-неловко охраняла она его от водки или как перед отъездом донимала советами («Бахта станет – по льду не ходи»).

Но чаще он думал о ней с благодарностью и тревогой, представляя, как она, кряхтя, колет дрова, как возит с Енисея воду на рыжем кобеле и как тёмным утром тащится с фонариком в контору узнать, «нет ли от Васи чего». Ещё вспоминал он ветреный день их отъезда. Накатывала на обледенелую гальку холодная и наглая волна. Мокрый Николай, ругаясь, отпихивал от берега перегруженную лодку, ветер срывал брезент с груза, а вспотевший Васька бегал за отвязавшейся собакой. И когда бабушка в десятый раз закричала, ударяя на «я»: «Вася-я-я! Ты рукавицы взял?» – он проорал ей в ответ что-то настолько резкое и грубое, что и теперь, вспоминая, краснел от стыда.

И чтобы заглушить этот стыд, Васька изо всех сил думал о том, как отдохнёт бабушка, когда он вернётся, как хорошо они с ней заживут, теперь, когда он такой взрослый и сильный, и что в следующий раз он обязательно наколет ей дров на всю зиму.

Под конец охоты уже очень хотелось домой, но когда настало последнее утро, когда прибирали в избушке, выкидывали ошалевшим собакам остатки рыбы, стало вдруг страшно грустно и обидно за это вот-вот опустеющее жильё, за открытую лыжню, по которой он вчера пришёл и которая ему больше никогда не понадобится, за прибавляющийся день и солнечную погоду, которая будет теперь

стоять впустую. Но в следующую минуту засосало под ложечкой от радостного волнения и пробежал по ногам зуд предстоящей дороги.

Недалеко от деревни они в последний раз ночевали в избушке. Её хозяин, молодой парень, уже отохотился и ушёл домой, оставив на гвоздике в цветастом мешочке домашнее печенье – «стряпанное». Васька, как ни сдерживался, сгрыз добрую половину вкусного стряпанного и, отвалясь на нары, уснул мёртвым сном. Под утро посреди какого-то путаного сна его разбудил Николай. Трещала печка, чуть синело окно, верещала рация. Странно бодрый Николай внимательно посмотрел на Ваську и, как бы решившись на что-то, выдохнув воздух, сказал:

– Вот что, Василий. Сейчас с деревней разговаривал. Бабушка твоя умерла.

Будто лопнул лёд под Васькой, и от обдавшего холода он проснулся уже по-настоящему и, оглядевшись, сначала не мог понять, почему так механически-мерно сопит Николай и так равнодушно недвижен еле тлеющий фитиль лампы. Пережитое во сне было настолько сильным, что он, лёжа с открытыми глазами, чувствовал, как всё продолжает тонуть, цепенея в пробирающем до костей холоде, – будто он снова бесконечно маленький и беспомощный, будто не бывало никогда ни морозной радости на сердце, ни тридцати вычесанных соболей в поняге, а есть только извечный, оголённый сном, страх одинокой потерянной души. Васька затопил печку. Она загудела, и всё сдвинулось с мёртвой точки, затикали часы на столе, пошевелился Николай, завозились собаки за дверью...

Настал день, а страх всё не отпускал. Он был с Васькой всё время, пока они шли по уже хорошо накатанной дороге, и когда их встретили у звероферм, и когда они тряслись в нарте на едком дыму выхлопа мимо заваленных снегом домов, мимо собак, лай которых тонул в рёве мотора и оставались от него лишь нелепо дёргающиеся головы с открывающимися пастями. А потом показался дом на угоре, и на крыльце стояла бабушка в красном платке и фуфайке, с охапкой дров, и, когда гул стих, она всё что-то искала сморщенным лицом у него на груди, а он гладил её по вздрагивающей стёганой спине и говорил не своими губами: «Ну, будет, будет...», а над огромным Енисеем гнал ветер синюю пыль и ехало по зубчатому горизонту сплюснутое сказочное солнце.